
АНДРЕЙ РАТИБОРО
ЗАПИСКИ
бузулукского врача
Книга первая
ДЕТЕКТИВЫ · БУЗУЛУК · 1982–1984

Андрей Ратиборо

Записки бузулукского врача Книга 1

https://litres.ru/74737164
SelfPub; 2026

Аннотация

Осень 1982 года. Военный врач Алексей Дронов, комиссованный после ранения под Кандагаром, возвращается в родной Бузулук и снимает комнату в старом купеческом доме. Его сосед — бывший преподаватель химии Вениамин Шерстнёв: играет по ночам на баяне, читает справочники по почвоведению и по пятнам мазута на брюках угадывает, на какой буровой вы работали. К нему тайком ходит за советом милиция.

Лесник, убитый «лосем», который ходит на двух ногах. Вагон финских сапог, превратившийся в цемент. Призрак Пугачёва в подвале краеведческого музея. Чёрный горнист над пионерлагерем в бору. Двадцать одна загадка советской провинции — от Бузулукского бора до новостроек 4-го микрорайона, от Елшанки до элеватора.

Детективы в традиции Артура Конан Дойла, где вместо Бейкер-стрит — улица Ленина, вместо кеба — милицейский «уазик», а вместо тумана — оренбургский буран.

Содержание

Содержание 6
Рассказ первый. Тайна бора 7
I. Как я познакомился с Шерстнёвым 7
II. Дочь лесника 11
III. Следы на снегу 14
IV. Собака, которая не лаяла 18
Рассказ второй. Дело о пропавшем вагоне 22
I. Сапоги Галины 22
II. Невеста экспедитора 24
III. Иней на цифрах 26
IV. Тупик у элеватора 30
Рассказ третий. Свист в продушине 33
I. Девушка с окраины 33
II. Решётка у кровати 37
III. Ночь в угловой комнате 41
IV. Что было после 44
Рассказ четвёртый. Общество рыжеволосых 46
I. Энциклопедия на букву «В» 46
II. Колени жильца 51
III. В хранилище 54
IV. Послесловие 57
Рассказ пятый. Прорубь на Самарке 59
I. Жена кассира 59

II. Что знал мёртвый 63
III. Лёд не врёт 66
Конец ознакомительного фрагмента. 68

Андрей Ратиборо Записки бузулукского врача Книга 1

Андрей Ратиборо

Записки бузулукского врача

Книга первая

Детективные рассказы

Бузулук, 1982–1984

Все персонажи и события вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми случайны.

© Андрей Ратиборо, 2026

Содержание

Рассказ первый. Тайна бора
Рассказ второй. Дело о пропавшем вагоне
Рассказ третий. Свист в продушине
Рассказ четвёртый. Общество рыжеволосых
Рассказ пятый. Прорубь на Самарке
Рассказ шестой. Женщина из ресторана «Бор»
Рассказ седьмой. Матрёшки на заборе
Рассказ восьмой. Певчий с кладбищенской церкви
Рассказ девятый. Призрак Пугачёва
Рассказ десятый. Обмен с доплатой
Рассказ одиннадцатый. Пчёлы старого Еремея
Рассказ двенадцатый. Чёрный горнист
Рассказ тринадцатый. Жених в тёмных очках
Рассказ четырнадцатый. Гаражи у котельной
Рассказ пятнадцатый. Погреба за «Красной шапочкой»
Рассказ шестнадцатый. Оркестр школы № 12
Рассказ семнадцатый. Орден чехословацкого капитана
Рассказ восемнадцатый. Лаборантка с элеватора
Рассказ девятнадцатый. Чужой снимок
Рассказ двадцатый. Гусь к Новому году
Рассказ двадцать первый. Конверт для капитана Лыткина

Рассказ первый. Тайна бора

I. Как я познакомился с Шерстнёвым

Осенью 1982 года меня комиссовали. Под Кандагаром я получил пулю в левое плечо, потом три месяца провалялся в ташкентском госпитале, а формулировку в приказе мне до сих пор не хочется повторять. В двадцать девять лет у меня были диплом Куйбышевского мединститута, плохо гнущаяся рука и привычка просыпаться от любого стука. Родных почти не осталось. Я поехал туда, где меня хотя бы помнили, — в Бузулук, город моего детства.

Терапевтом в районную больницу меня взяли сразу. С жильём оказалось хуже. Общежитие было набито, а снять комнату в городе, где каждая вторая семья стоит в очереди на квартиру, почти невозможно. Однажды я пожаловался на это фельдшеру Ильину, с которым мы курили на крыльце приёмного покоя.

Ильин подумал.

— Есть один человек. Ищет соседа на половину дома, у Клавдии Степановны, возле рынка. Только он чудной, Алексей Николаевич, сразу говорю.

— Чем чудной?

— Химик. Бывший — из техникума его попросили. Дома

склянки, реактивы, иной раз вонь на всю улицу. И к нему милиция ходит.

— Сидел?

— Если бы, — хмыкнул Ильин. — Советоваться ходят. Только про это у нас не говорят.

Вечером он привёл меня к старому купеческому дому: низ кирпичный, верх деревянный, с резными наличниками. Хозяйка, вдова железнодорожника, оглядела меня поверх очков и сказала одно: «Курить — на крыльце. Он вон тоже обещал».

Наверху, за столом, заставленным колбами, сидел худой человек лет сорока пяти в растянутом свитере и что-то отмерял пипеткой. Он не обернулся, пока не закончил. Потом снял очки и посмотрел на меня так пристально, что мне стало не по себе.

— Вениамин Аркадьевич Шерстнёв, — представил его Ильин. — А это доктор Дронов.

— Здравствуйте. — Шерстнёв пожал мне руку. — Давно из Афганистана?

Я растерялся. В те годы об Афганистане вслух не говорили. Газеты писали про «ограниченный контингент» и про деревья, которые наши солдаты сажают вместе с местными жителями, а вернувшийся оттуда человек в первый же месяц учился молчать.

— Вам Ильин рассказал?

— Я ему слова не говорил, — обиделся фельдшер.

— Никто ничего не говорил. — Шерстнёв улыбнулся, и улыбка оказалась неожиданно молодой. — Выправка у вас армейская, а ногти острижены коротко, по-врачебному. Загар въелся так, как наш ноябрь не позволяет, а в Крыму так не загоришь: шея над воротником тёмная, лоб светлый — значит, панама, жара и не один месяц. Снимая пальто, вы сначала вынули правую руку и пожалели левое плечо. Рана свежая. Где советский военный врач в восемьдесят втором году ловит пулю под южным солнцем? Выбор невелик.

— Поразительно.

— Обыкновенно. Люди смотрят, но не замечают. Я замечаю, вот и всё. Комната напротив свободна, двадцать рублей в месяц, а щи Клавдия Степановна варит превосходные. Предупреждаю: когда думаю, играю по ночам на баяне. Вас это не смутит?

Так я поселился у Шерстнёва. Первые недели я больше присматривался к нему, чем разговаривал. Он мог сутки не выходить из комнаты, а потом пропасть на два дня и вернуться в облепленных снегом валенках, с ворохом каких-то записей. Читал он всё подряд: справочники по почвоведению, расписания поездов, «Огонёк», отчёты санэпидстанции, которые неизвестно где доставал. В литературе при этом был до смешного невежествен и однажды всерьёз спросил меня, кто такой Пастернак.

— А зачем мне? — удивился он моему удивлению. — Голова как чердак. Натащите туда хлама — нужную вещь по-

том не найдёте. Я держу на чердаке только инструменты.

Эти слова я записал в тетрадь в тот же вечер. Тогда я ещё не знал, что за ней последуют другие тетради.

II. Дочь лесника

В середине января 1983 года ударили тридцатиградусные морозы. Над крышами стояли прямые белые столбы дыма, на остановках люди молча прятали лица в шарфы. В одно такое воскресное утро Клавдия Степановна постучала к нам: внизу ждёт девушка, вся в слезах.

Ей было лет двадцать. Овчинный полушубок явно с чужого плеча, пуховый платок, заиндевевший от дыхания. Шерстнёв усадил её к печке, велел подать чаю и ни о чём не спрашивал, пока она не отогрелась.

— Нина Гуляева, — сказала она наконец. — Учусь в педучилище, живу у тётки в городе. Отец у меня лесник в бору. Пётр Ефимович Гуляев. Был лесником. Три дня назад его нашли мёртвым.

Она обхватила кружку обеими руками.

— В милиции говорят, его убил лось. Зимой лоси бывают злые, отец, мол, подошёл слишком близко. А я не верю. Он двадцать лет в лесу, он лося за версту слышал. И вот ещё… За неделю до того пришло письмо.

Шерстнёв пробежал листок глазами и передал мне. Почерк крупный, старательный, с ошибками:

«Нинушка, здравствуй. У меня всё хорошо, Пальма здорова, корову продал. Тут у нас в квартале неладное, рубят ночами, и не только. Я им сказал, что дойду до самого об-

кома. Пусть знают. Ты не бойся, я своё дело знаю. Приезжай на каникулы. Папа».

— «Рубят ночами, и не только», — вполголоса повторил Шерстнёв. — Кому это «им»?

— Не знаю. О работе он со мной не говорил. Только раз обмолвился, что в бору завелись «гости» — ездят на охоту без всяких путёвок.

— Кто нашёл тело?

— Егерь, Виктор Зотов, у него соседний обход. Утром заехал к отцу на кордон — отца нет, Пальма сидит на крыльце. Пошёл по следам и в полукилометре, на поляне, нашёл. Голова разбита. А вокруг на снегу — одни лосиные следы.

— И никаких человеческих?

— Только отцовы. Он дошёл от кордона на лыжах, у края поляны снял их и дальше пошёл пешком. А там, где он лежал, всё истоптано лосём. Капитан Лыткин сказал — дело ясное.

Шерстнёв откинулся на стуле и некоторое время смотрел в окно, на заснеженные крыши.

— А Пальма в ту ночь лаяла?

Нина подняла голову.

— Не знаю. Зотов говорил, собака была спокойная, сидела и ждала. Она и сейчас там. Никого к дому не подпускает, кроме Зотова, — он её кормит.

— Спасибо. Это важно. — Шерстнёв поднялся. — Где тело?

— В морге районной больницы. Судмедэксперта из Оренбурга ждут только в среду.

Он повернулся ко мне. Так смотрит гончая, почуявшая след; потом я научился узнавать этот взгляд.

— У вас ведь есть ход в больничный морг, доктор?

— Формально нет. Но санитар Кузьмич мне не откажет.

— Тогда попросите его. Потом нам понадобится машина до бора. Нина, поедете с нами?

— Поеду.

III. Следы на снегу

За бутылку «Столичной» и моё честное слово Кузьмич пустил нас в морг на четверть часа. Шерстнёв попросил меня осмотреть тело не спеша и ничего не говорить, пока не закончу.

Гуляев был жилистый, крепкий мужчина лет пятидесяти пяти. Смерть наступила от одного удара: вдавленный перелом теменной кости справа, края раны — полумесяцем. Больше я не нашёл ничего. Ни ссадин на груди, ни кровоподтёков на руках, ни сломанных рёбер.

— Ну? — спросил Шерстнёв, когда я выпрямился.

— Странно. Лось бьёт передними ногами — сверху и вперёд. Удары пришлись бы в лицо и в грудь, и одним зверь бы не ограничился: лежачего он затоптал бы. А здесь удар один, в темя, справа и чуть сзади. Будто человек стоял к нему боком или отвернулся.

— Или будто его ударил правша, стоявший рядом. Великолепно, доктор. А теперь сюда.

Пинцетом, который нашёлся у него в кармане свитера, он вытянул из волос у самой раны короткий серо-бурый волос и крошечный чёрный клочок, похожий на обрывок клеёнки.

— Лосиный волос. С версией капитана сходится. А это изолента. Вы встречали лосей, которые обматывают копыта изолентой?

Через час мы тряслись по зимней дороге в бор. Машину пришлось просить у самого Лыткина. Плотный румяный капитан с усами долго ворчал, что «доцент опять лезет не в своё дело», но в конце концов сам сел за руль служебного «уазика»: любопытство пересилило.

Зимний Бузулукский бор похож на собор. Сосны поднимаются прямо, как колонны, и уходят так высоко, что внизу всегда сумрачно. Снег лежал глубокий, нетронутый. Было так тихо, что слышалось, как потрескивают на морозе стволы.

На кордоне нас встретил лай. Рыжая лайка с белой грудью кинулась наперерез и успокоилась, только когда Нина обняла её за шею. Из-за сарая вышел высокий мужчина в армейском бушлате, с ведром.

— Зотов, егерь. — Он пожал руку Лыткину, потом нам. — Собаку вот кормлю, не бросать же. Опять насчёт Петра Ефимыча, товарищ капитан?

Лет сорока, широкоплечий, с обветренным лицом и очень спокойными светлыми глазами. Говорил он охотно и толково. В ту ночь был у себя на кордоне, в восьми километрах. Шатун в квартале ходит: следы видел ещё на прошлой неделе и Гуляева предупреждал. Утром заехал, потому что договорились вместе ехать в леспромхоз.

— Жаль мужика. — Он посмотрел на Нину. — Хороший был. Упрямый только.

К поляне шли по старой лыжне. Морозы стояли ясные,

снега с той ночи не выпало, и картина сохранилась почти целиком — если не считать тропы, натоптанной милицией. Шерстнёв велел всем ждать у края и пошёл вперёд один. Иногда он опускался на колени, мерил что-то складным метром, разгребал снег пальцами. Лыткин курил и демонстративно поглядывал на часы.

Наконец Шерстнёв махнул мне.

— Идите сюда, доктор. Только след в след. Что видите?

— Лосиные следы. Много.

— Вы видите отпечатки лосиных копыт. Это не одно и то же. Лось по глубокому снегу волочит ноги, между следами остаются борозды. Здесь их нет: каждый след словно выбит штампом, а снег между ними чистый. Теперь шаг. — Он приложил метр. — Семьдесят сантиметров. У лося по такому снегу — полтора метра, а то и больше. Ширина следовой дорожки — в ладонь. Так не ходит зверь в полтонны весом. Так ходит человек.

Лыткин бросил папиросу и подошёл.

— А здесь, — Шерстнёв показал на поваленную сосну, — наш «лось» перешагивал через ствол. Видите примятый снег на коре? И рядом с копытом — полукруглая вмятина. Задник валенка, капитан. Копыто было привязано к валенку и на бревне съехало.

— Ерунда какая-то, — буркнул Лыткин, но уже без прежней уверенности.

— Куда ушёл ваш лось?

— На просеку. Там дорога укатана, следы теряются.

Следы и правда вели к лесовозной просеке. На обочине Шерстнёв опять присел и долго молчал.

— Они не теряются, — сказал он. — Они обрываются. Здесь лось постоял и переступил с ноги на ногу, а здесь сел в машину. Колея армейская, передние колёса развернули снег — машина стояла. На левом заднем колесе заплата: видите гладкую полосу через каждый оборот? Лоси, капитан, редко ездят на «уазиках» с латаными покрышками.

Он отряхнул колени и посмотрел назад, на поляну.

— И последнее. Гуляев ночью вышел из дома не просто так — он что-то услышал. «Рубят ночами», писал он дочери. Где здесь ближайшая делянка, на которую нет порубочного билета?

В трёхстах метрах, в низине, нашлось то, что он искал: шесть свежих пней, старательно закиданных лапником и снегом. Золотистые опилки ещё пахли смолой. Вокруг — следы гусениц трелёвочного трактора и опять те же «лосиные» копыта.

— Вот вам и шатун, — тихо сказал Шерстнёв. — Двуногий.

IV. Собака, которая не лаяла

По дороге к кордону Лыткин молчал. Шерстнёв, наоборот, оживился — так с ним бывало всегда, когда задача складывалась в голове.

— Сложите всё вместе, доктор, — говорил он, нарочно громко, чтобы слышал капитан. — Ночью в низине валят сосны. Лесник слышит пилу, встаёт на лыжи и идёт на звук. На поляне встречает человека, которого знает: снимает лыжи и подходит без опаски. Они говорят, возможно, ссорятся. Лесник поворачивается уйти — и его бьют сзади, справа, один раз. Чем? Тем, что под рукой. Тем, что оставляет рану полумесяцем, лосиный волос и обрывок изоленты.

— Копытом.

— Лосиной ногой, отрубленной по колено, с ремнями, обмотанными изолентой, чтобы держались на валенке. Убийца снимает одну такую «подкову» и бьёт. Потом топчется вокруг тела, изображая зверя, уходит к машине и уезжает. Он рассчитывал, что никто не станет мерить шаг лося метром.

— Ловко, — проворчал Лыткин. — Только кто?

— Это как раз проще всего. В ту ночь Пальма не лаяла. Вы сами видели, как она встречает чужих. А тут в трёхстах метрах работали трактор и пила, мимо кордона ходили люди — и собака молчала. Значит, тот, кто приходил, был для неё своим. Сейчас она никого не подпускает к дому. Кроме

одного человека.

У кордона стоял второй «уазик», зелёный, с облупившейся надписью «Лесоохрана» на двери. Зотов сидел на крыльце и гладил Пальму. Она лежала у его ног, положив голову на лапы.

Шерстнёв молча обошёл машину и присел у левого заднего колеса. Потом посмотрел на Лыткина. Капитан подошёл и присел рядом. Поперёк протектора шла широкая гладкая заплата.

Зотов встал.

— Виктор Иванович, — голос у Лыткина стал служебным, — в сарае у вас надо посмотреть. Покажете?

Егерь молчал. Пальма подняла голову и тревожно на него посмотрела.

— Не надо смотреть, — сказал он наконец. — Там они. Под верстаком.

Под верстаком у него на кордоне нашли две лосиные ноги, отрубленные у колена, с широкими кожаными ремнями, туго обмотанными чёрной изолентой. На одном копыте, в щели между пальцами, засохла тёмная кровь.

Зотов рассказал всё в тот же вечер, в кабинете Лыткина. Говорил ровно и обстоятельно, словно о чужом деле. Два года он возил в бор охотников «из района», как он выразился: без путёвок, без лицензий, на лося и кабана. Охотникам нужны были дрова и брус на дачи, и он рубил им сосну в заповедных кварталах. Копыта придумал, чтобы его следы в

лесу не вызывали вопросов. Гуляев выследил его ещё осенью и предупредил: прекрати, иначе пойду в обком.

— Я ж его не убивать шёл. Говорить. А он упёрся. Сказал, всех запишет, кто с нами ездил. Повернулся и пошёл. Ну я и…

Он не договорил.

— А фамилии, Виктор Иванович? — спросил Шерстнёв из угла. — Тех, кто ездил?

Зотов посмотрел на Лыткина. Лыткин посмотрел в стол.

— К делу не относится, — сказал капитан.

Через день газета «Под знаменем Ленина» коротко сообщила, что благодаря умелым действиям сотрудников ГОВД раскрыто убийство лесника. Фамилия Лыткина стояла в заметке дважды, фамилии Шерстнёва не было вовсе. О ночных охотах и о соснах из заповедного квартала — ни слова.

— Вас это не задевает? — спросил я вечером. Мы сидели у печки, внизу Клавдия Степановна гремела посудой.

Шерстнёв растянул баян, взял несколько тихих аккордов.

— Задевает другое. Убийцу мы нашли. А тех, ради кого он рубил лес, не найдёт никто — их просто не станут искать. У нас бывают преступления, которые можно раскрыть, но нельзя наказать. Придётся привыкнуть, если вы и дальше будете со мной ходить.

— А я буду?

— Конечно. Вы же уже записываете. Я видел вашу тетрадь.

Пальму Нина забрала к тётке в город. Весной она зашла к нам ещё раз, принесла банку брусничного варенья и долго благодарила Шерстнёва, а он смущался и смотрел в окно. Собака прожила ещё десять лет.

В тот вечер я открыл тетрадь и написал на первой странице: «Записки бузулукского врача». Печатать их тогда было немыслимо, и много лет они пролежали в столе. Того времени больше нет. Пора рассказать, как всё было.

Рассказ второй. Дело о пропавшем вагоне

I. Сапоги Галины

Весной 1983 года Самарка разлилась так, что из нашего окна было видно, как вода стоит в огородах за мостом. Город раскис. Все ходили в резиновых сапогах, и только счастливцы, сумевшие достать что-нибудь заграничное, ступали по грязи с видом людей, которым завидуют.

Одной из счастливиц оказалась Галя, племянница нашей хозяйки, продавщица из хлебного. В субботу она зашла к тётке и, конечно, не удержалась — поднялась к нам показать обновку. Финские женские сапоги, коричневые, на меху, с молнией во всю длину. По тем временам вещь почти сказочная.

— Двести пятьдесят рублей, — сказала Галя с гордостью и ужасом сразу. — На рынке, у одной женщины. В магазине таких нет и не будет.

Шерстнёв, лежавший на диване с газетой, вдруг сел.

— Позвольте коробку, Галина.

Коробку она принесла с собой: летом хранить в ней сапоги. Сбоку стоял фиолетовый штамп, полустёртый. Шерстнёв

долго вертел коробку у окна.

— «Куйбышевская оптовая база…» и номер накладной, — пробормотал он. — Где была коробка, когда вы покупали? На прилавке? Или женщина достала её откуда-то?

— Из мешка. У неё в мешке штук десять было. А что?

— Пока ничего. Носите на здоровье.

Когда Галя ушла, он ещё долго стоял у окна, глядя на разлившуюся реку.

— Двести пятьдесят, доктор. В магазине такие стоят около ста десяти. И куйбышевский штамп на коробке, хотя в бузулукской торговле этих сапог никто не видел. Значит, они шли сюда, но до прилавка не дошли.

— Обычная спекуляция. Кто-то из торговли придержал партию.

— Возможно. Но десять пар в одном мешке у одной торговки — это уже не придержанная партия. Это очень большая партия. Хотел бы я знать, насколько большая.

Ответ пришёл сам, в понедельник утром.

II. Невеста экспедитора

Лилию Хабибуллину я знал в лицо: медсестра из хирургии нашей же больницы, лет двадцати трёх. Говорить нам до того не приходилось. Она пришла на рассвете, с красными от бессонницы глазами, и почему-то обратилась ко мне, а не к Шерстнёву.

— Алексей Николаевич, говорят, ваш сосед помогает… Рашида арестовали. Жениха моего. Говорят, он украл целый вагон.

Рассказ у неё получился сбивчивый, но суть была такая.

Рашид Гарипов работал экспедитором в ОРСе — отделе рабочего снабжения нефтяников. На прошлой неделе его послали в Куйбышев сопровождать вагон: тысяча двести пар финских женских сапог, выделенных для магазинов нефтяников. Груз ценный. Рашид сам был на базе при погрузке, сам видел, как вагон закрыли и опломбировали, и всю дорогу ехал при нём в служебном купе, как положено.

На разъезде Сосновый, в сорока километрах от Бузулука, у вагона «загорелась букса» — перегрелся подшипник колеса. Вагон отцепили и поставили на запасной путь до утра, поезд ушёл. Рашид остался. Ночь он просидел у дежурной по разъезду, у печки. Утром вагон осмотрели, прицепили к следующему составу и доставили в город.

— Говорит, не спал, — сказала Лиля. — Ну, может, на

часок задремал. А днём на складе вагон вскрыли при комиссии. Пломба целая, номер тот, что в накладной. А внутри мешки с цементом. Ни одной пары.

— И Рашида обвиняют в сговоре?

— Говорят, на разъезде сапоги выгрузили, а цемент загрузили, а пломбу он заранее где-то достал. Его забрал ОБХСС. Говорят, десять лет дадут. Хищение в особо крупном.

Она заплакала. Шерстнёв дал ей успокоиться.

— Лиля, а сколько там было цемента?

— Не знаю. Полный вагон.

— Вот это интересно. Тысяча двести пар — это коробки: много, но лёгкие. А полный крытый вагон цемента — тонн шестьдесят. Один экспедитор, даже с сообщниками, за ночь не перекидает шестьдесят тонн на глухом разъезде, где из жителей одна дежурная да её коза. Тут нужны кран, грузовики, бригада — и грохот на всю округу. Нет, Лиля. Сапоги не выгружали. Их увезли вместе с вагоном.

— Но вагон-то пришёл! С тем же номером!

— С тем же номером, — согласился он. — Это ещё не значит, что тот же самый. Доктор, вы сегодня когда на смену?

— С двух.

— Тогда до двух успеем на станцию.

III. Иней на цифрах

Вагон стоял в тупике за товарной станцией, у складов ОР-Са, опечатанный теперь бумажной милицейской полоской. Обычный бурый крытый вагон, каких на дороге тысячи. Старик-сторож в ватнике пустил нас за рубль и тут же потерял к нам интерес.

Ночь выдалась морозная, как бывает в апреле, и к восьми утра вагон ещё стоял в инее. Шерстнёв остановился против борта и долго смотрел на белые цифры номера.

— Подойдите ближе. Что видите?

— Номер. Восемь цифр.

— А иней?

Я пригляделся. Весь борт покрывал ровный пушистый иней. На цифрах же он лежал иначе: тоньше, будто размазанный, и они проступали сквозь него ярко, тогда как соседние надписи — «Грузоподъёмность», «Тара» — едва угадывались.

— Свежая краска, — сказал Шерстнёв. — Масляная, ещё не просохшая. На ней иней садится не так, как на старой, выветренной. Номер написали меньше недели назад. И только номер — остальные надписи никто не трогал.

Он осторожно поскрёб перочинным ножом край одной цифры. Под белой краской показалась другая — тоже белая, старая, в трещинах, но иной формы.

— Была тройка, стала восьмёрка. Немного краски, трафарет — и один вагон превращается в другой. Нужны только два одинаковых вагона и одна тёмная ночь.

— А пломба? Лиля сказала, целая.

— Не сомневаюсь. Посмотрим.

Свинцовая бляшка висела на скрученной проволоке. Шерстнёв поднёс к ней лупу.

— Буквы и номер тисков. Это не код оптовой базы из накладной, а станция, откуда отгружают цемент. Пломбу никто не трогал, доктор. Вагон опечатали честно — только это пломба другого вагона, того, в котором цемент был с самого начала. Его отправили по другой накладной, другому получателю. А в Бузулуке приёмщик увидел, что пломба цела, и прочесть её не удосужился.

— Значит, на разъезде…

— На разъезде стояли рядом два вагона: с сапогами и с цементом. Ночью им поменяли номера. Утром вагон с цементом под номером сапожного ушёл в Бузулук, к ОРСу, где его и вскрыли при комиссии. А вагон с сапогами под чужим номером отправился туда, куда шёл цемент. Остаётся узнать куда. Это скажет разъезд Сосновый.

До Соснового мы доехали на пригородном «подкидыше», который ходил туда дважды в день. Разъезд был крошечный: домик дежурной, два запасных пути, водокачка и бескрайняя степь в чёрных проталинах. Дежурная, Матрёна Ильинична, полная женщина в железнодорожной шинели, встре-

тила нас настороженно, но, узнав, что мы хлопочем за Рашида, оттаяла.

— Жалко парня, — сказала она, наливая чай. — Тихий. Всю ночь у меня у печки сидел. Под утро прямо за столом уснул, будить жалко было.

— Какие вагоны стояли в ту ночь на запасных?

— Его, с буксой, на первом. А на втором с вечера цементный, для ПМК, на стройку у элеватора. Вечером оставили, утром оба забрали.

— Ночью к вагонам кто-нибудь подходил?

— Пашков, составитель с узловой. Буксу смотреть. Он у нас частый гость. С фонарём, с ведром. И пахло от него чем-то… олифой вроде. Сказал — смазка. Чаю с нами попил, у него свой термос был, с травами. Рашид две кружки выпил, ещё хвалил.

Шерстнёв переглянулся со мной.

— Две кружки — и уснул за столом как убитый. Доктор, какое снотворное можно растворить в горячем травяном чае, чтобы человек не почувствовал горечи?

— Почти любое. Травы перебьют.

— А букса, Матрёна Ильинична? Правда горела?

— Дымила. Пашков сказал — горит. Ему видней.

— Подшипник забивают промасленной ветошью и поджигают, — объяснил Шерстнёв по дороге к платформе. — Дыма много, вреда никакого, а вагон по правилам обязаны отцепить. Готовились давно, доктор. Знали, когда пойдёт ва-

гон с сапогами, что на разъезде будет свободный путь и куда отправить пропажу. Одного составителя тут мало. Нужен человек в ОРСе, знающий сроки и маршруты. И человек в ПМК, который примет «цемент» у себя в тупике и не станет задавать вопросов.

IV. Тупик у элеватора

Капитан Лыткин выслушал всё это с выражением человека, которому дают горькое лекарство. Дело о сапогах вёл не он, а ОБХСС, а у обэхаэсников, по его словам, «своё начальство». Но про иней на цифрах и чужую пломбу он дослушал до конца, а потом снял трубку и позвонил майору Соколову.

Майор оказался сухим немногословным человеком в штатском. Выслушал, задал два вопроса и сказал:

— Если вагон в тупике ПМК, разгружать будут ночью. Днём там люди.

Той же ночью мы сидели в остывшей кабине милицейского «уазика», без огней, за штабелями бетонных плит в сотне метров от тупика. Стройку элеватора заморозили ещё осенью. Ветер посвистывал в арматуре, торчащей из недостроенных стен. На тупиковом пути чернел крытый вагон.

В половине второго к нему, переваливаясь на колдобинах, подъехал грузовик с погашенными фарами. Из кабины вышли трое. Двое отодвинули дверь вагона, третий светил фонариком и вполголоса торопил. Едва первые коробки поплыли в кузов, Соколов сказал в рацию: «Давай». Тупик залил свет фар.

Всё кончилось за несколько минут. Один из грузчиков рванул через стройку, и Лыткин, при всей своей комплекции, догнал его удивительно резво. Человек с фонариком не

побежал. Сутулый, бледный, в хорошем драповом пальто, он стоял у вагона и щурился на свет.

— Клейменов, — сказал Соколов без всякого удивления. — Аркадий Борисович, заместитель директора ОРСа. Я так и думал.

Вторым оказался кладовщик ПМК, третьим — составитель Пашков, тот самый, с термосом. В кузове и в вагоне насчитали девятьсот шестьдесят пар. Ещё двести сорок Клейменов успел пустить в продажу через жену брата, торговавшую на рынке. У неё и купила свою обновку Галя.

Рашида Гарипова отпустили через два дня. Я не ждал от ОБХСС такой расторопности, но Соколов, видно, был человеком другой породы, чем Лыткин. Летом Рашид и Лиля поженились. Нас позвали на свадьбу, и Шерстнёв, к моему изумлению, пошёл и сыграл на баяне что-то татарское — научил, как выяснилось, сосед по общежитию в молодости.

Оставалось одно затруднение. Через неделю после ареста прибежала встревоженная Клавдия Степановна: Галя боится, что сапоги, купленные у спекулянтки, заберут как вещественное доказательство.

Шерстнёв ответил, не отрываясь от колб:

— Скажите Галине, что суду хватит девятисот шестидесяти пар. А коробку пусть сохранит. В конце концов, она раскрыла это дело раньше нас всех. Просто не знала об этом.

Вечером я спросил, почему он с самого начала решил, что вагон подменили, а не разграбили.

— Из-за цемента. Вор, который берёт груз, оставляет пустоту. Вор, который не хочет, чтобы пропажу искали, оставляет вместо неё что-то другое. Но шестьдесят тонн цемента за ночь не насыплешь. Значит, цемент был там с самого начала, а пропал не груз — пропал вагон. Остальное — иней на цифрах.

Он улыбнулся.

— Запишите. У вас теперь целых два рассказа.

Рассказ третий. Свист в продушине

I. Девушка с окраины

Из всех дел, которые я видел рядом с Шерстнёвым, это вспоминается мне чаще других. Не потому, что оно самое запутанное. В нём я впервые оказался полезен не как слушатель, а как врач.

Сентябрь 1983 года стоял сухой и пыльный. По городу летела паутина, на рынке торговали арбузами прямо с машин. В субботу на рассвете меня разбудил Шерстнёв — одетый, сосредоточенный.

— Вставайте, доктор. Внизу девушка. Шла к нам пешком с дальней окраины, за железной дорогой: автобусы в такую рань не ходят. Ей, пожалуй, нужнее врач, чем сыщик. Но, по-моему, нужны оба.

Вере Колосовой было двадцать два. Она была бы хороша собой, если бы не бледность и тёмные круги под глазами, какие бывают у давно не спавших людей. Чашку с чаем она держала обеими ладонями, и та всё равно подрагивала.

— Я, наверное, покажусь вам сумасшедшей. Мне самой иногда так кажется. Но я больше не могу. Я боюсь спать в собственном доме.

— Рассказывайте по порядку, — сказал Шерстнёв. — И

не считайте ничего мелочью.

Они с сестрой выросли в старом бревенчатом доме, который построил ещё их дед, железнодорожный мастер. Отец умер, когда девочки были маленькими. Через несколько лет мать вышла за Глеба Тимофеевича Рыкалова, шофёра автобазы. Человек тяжёлый, сказала Вера: вспыльчивый, запойный, хотя в трезвые дни умеет быть очень любезным. Шесть лет назад мать умерла. Дом по закону остался на троих: две трети сёстрам, треть отчиму.

— Он всегда злился, что дом не его. А когда заговорили, что нашу улицу снесут под новый микрорайон, стал злиться ещё больше. За снос дают квартиры. Будь дом его — получил бы квартиру один. А так — на каждого из нас.

— А сестра?

Вера опустила голову.

— Таня умерла два года назад. Ей было двадцать четыре, весной была назначена свадьба. В январе её нашли утром в постели мёртвой. Врач со «скорой» сказал — сердце, у молодых так бывает, какой-то врождённый порок. Вскрытия не было: отчим договорился. Сказал, не позволит её резать.

Шерстнёв быстро взглянул на меня.

— Вы помните что-нибудь ещё о той ночи?

— Помню. — Голос её стал совсем тихим. — За несколько дней до смерти Таня спрашивала, не слышу ли я по ночам свиста. Тонкого, будто ветер в щель. Её комната угловая, у гаража, моя через сени. Я ничего не слышала. А в последнюю

ночь, под утро, мне показалось, что за стеной гудит мотор. Глухо, долго. Я решила, отчим собирается в рейс. Утром Таня не вышла к завтраку.

— Как она выглядела, когда её нашли? — не удержался я.

Вера удивлённо посмотрела на меня.

— Странно, что вы спрашиваете. Я всё время об этом думаю. Она лежала как живая. Щёки розовые, губы яркие, будто спит. Я сначала даже трясла её. Мёртвые ведь бледные?

У меня похолодели руки. Шерстнёв, не сводивший с меня глаз, чуть заметно качнул головой: понял, что я что-то знаю, и не хотел, чтобы я говорил при ней.

— Почему вы пришли именно сейчас?

— Потому что я тоже выхожу замуж. В октябре. Саша служит в Оренбурге, приедет через три недели. А на прошлой неделе отчим затеял ремонт в моей комнате — штукатурка, говорит, сыплется — и велел спать в Таниной. Две ночи назад, — чашка дрогнула у неё в руках, — я проснулась и услышала свист. Тихий, тонкий. Как она рассказывала.

— Сегодня вы будете ночевать дома?

— Больше негде. Подруги в общежитии, родных нет. И если не приду, он поймёт, что я что-то подозреваю.

— Тогда так. Днём, когда отчима не будет, мы с доктором к вам зайдём под каким-нибудь предлогом. Когда он уходит?

— В субботу у него рейс до вечера.

— Ждите нас к полудню. В комнате ничего не трогайте и ни о чём его не спрашивайте.

Когда дверь за ней закрылась, Шерстнёв повернулся ко мне.

— Вы побледнели на слове «румяная».

— Угарный газ, — сказал я. — Окись углерода соединяется с гемоглобином прочнее кислорода, и кожа становится розовой, почти вишнёвой. Классический признак. От сердечного приступа так не выглядят. Сделай кто вскрытие — увидел бы сразу: кровь алая.

— Поэтому вскрытия и не было. Угар в деревянном доме зимой — дело обычное, но первым делом подумали бы на печь. А у Тани своей печи нет, Вера говорит, комнату греет стенка от кухонной. Никто и не вспомнил про угар. Откуда же он взялся? И при чём тут свист и мотор за стеной гаража?

II. Решётка у кровати

Дом Колосовых стоял в самом конце пыльной улицы, за которой начинались огороды и степь. Старый, просевший, но крепкий, с голубыми ставнями и высокой завалинкой. К правому углу примыкал кирпичный гараж с воротами, выкрашенными суриком. Старая дворняга на цепи поднялась нам навстречу, увидела Веру и легла обратно.

— Спросят соседи — я из горгаза, доктор из санэпидстанции, — сказал Шерстнёв. — Проверяем печи перед зимой. Это почти правда.

Танина комната была маленькая, в одно окно на огород. Грела её общая с кухней стенка-«голландка» в белых изразцах. У глухой стены, за которой гараж, стояла железная кровать с никелированными шишечками. В плинтусе у изголовья, почти у самого пола, была врезана новая вентиляционная решётка, крашенная в цвет пола.

— Давно отчим её поставил?

— Осенью, перед Таниной смертью. Сказал, в подполе сырость, доски гниют, нужна продушина. И кровать велел передвинуть сюда: у окна, мол, дует.

Шерстнёв лёг на пол и придвинул лицо к решётке. Потом провёл носовым платком по прутьям изнутри и молча показал нам. На белой ткани остались жирные чёрные полосы.

— Копоть. Печная сажа сухая, бархатная, а эта масляни-

стая. Понюхайте, доктор.

От платка слабо, но отчётливо пахло тем, с чем ничего не спутаешь: выхлопными газами.

Лаз в подпол был на кухне, под половиком. Шерстнёв спустился с фонарём, я светил сверху. Подпол неглубокий, в полроста, с земляным полом. Шерстнёв долго ползал там, кашляя от пыли, потом позвал меня.

— Под Таниной комнатой земля утоптана, а вот дорожка, будто что-то волокли. Ведёт к стене гаража. А в стене…

В кирпичной кладке у самой земли была пробита дыра с кулак, туго заткнутая промасленной ветошью. Шерстнёв её не тронул.

— Теперь гараж. Ключи есть?

— Мамины, запасные. Он не знает, что они остались.

В гараже стоял голубой «Москвич» автобазы: Рыкалов возил на нём начальство и, как многие шофёры, держал служебную машину дома. Пахло бензином и маслом. Инструменты на стене висели в образцовом порядке, а на гвозде у пола свернулся кольцом толстый резиновый шланг метров в шесть. Один конец надставлен жестяной воронкой с хомутом — точно по диаметру выхлопной трубы «Москвича». Другой обрезан ровно и туго обмотан изолентой, чтобы плотно входил в отверстие. В то самое, у пола, заткнутое изнутри ветошью.

— Вот и вся механика, — почти шёпотом сказал Шерстнёв. — Ночью он приоткрывает ворота, чтобы самому не уго-

реть, надевает шланг на трубу, другой конец суёт в дыру и заводит мотор на холостых. Газ идёт под пол, а оттуда по самому лёгкому пути — через решётку, прямо к изголовью. Гул за стеной звучит глухо, его легко принять за машину на улице. А свист…

— Газ под давлением через узкие прорези, — сказал я. — Как ветер в щели.

— Именно. Угарный газ сам по себе не пахнет, а запах выхлопа, разбавленный подпольной сыростью, спящий не почует. Человек просто не просыпается. Утром шланг убирают, дыру затыкают, комнату проветривают. А врач «скорой» видит молодую девушку без единой царапины и пишет то, что говорит ему убитый горем отчим: сердце.

Вера стояла у ворот белая как мел.

— Значит, Таню он…

— Решётку он поставил осенью, в январе ваша сестра умерла. На прошлой неделе он затеял ремонт, чтобы вы легли в эту комнату. До свадьбы три недели. — Шерстнёв помолчал. — Свист две ночи назад — видимо, проверка. Или не хватило духу с первого раза. Во второй раз может хватить.

— Надо в милицию!

— С чем, доктор? С копотью на платке и шлангом в гараже у шофёра? Шланг — не преступление, дыра в стене — сырость. Таню похоронили без вскрытия. Лыткин скажет, что у нас разыгралась фантазия, и будет прав. Взять его можно только в ту минуту, когда шланг на трубе, а мотор заведён.

Сегодня ночью, Вера, вы спите не здесь.

III. Ночь в угловой комнате

План был прост. Вечером Вера вернётся как ни в чём не бывало, поужинает с отчимом и уйдёт к себе. В одиннадцать погасит свет, через полчаса выберется в огород через окно, а мы тем же путём займём её место. Ночевать она будет у Клавдии Степановны, которая, узнав, в чём дело, перекрестилась: «Хоть неделю пусть живёт».

Лыткину Шерстнёв позвонил из автомата на почте.

— Не поверил ни единому слову, — сообщил он, выйдя из будки. — Но я предложил пари: если к четырём утра ничего не случится, я до Нового года не покажусь у него в отделе. Это его соблазнило. В три он будет ждать с машиной в переулке.

Около полуночи мы перелезли через подоконник в тёмную угловую комнату. Вера в платке бесшумно скользнула в огород и пропала за смородиной. Шерстнёв прикрыл окно, оставив щель, и мы сели на пол у стены. Рядом лежало ватное одеяло, заранее намоченное в бочке с дождевой водой.

Эту ночь я не забуду. Дом жил своей ночной жизнью: скрипели половицы, тикали на кухне ходики, раз за стеной долго и мучительно кашлял Рыкалов. Потом всё стихло. Лениво тявкнула дворняга. Я сидел, прислонившись к брёвнам, и считал удары сердца. От сырости ныло раненое плечо. Шерстнёв не шевелился; только по дыханию я знал, что он

не спит.

Пробило час. Потом два. Видимо, я задремал: очнулся оттого, что он сжал мне руку.

За стеной, в гараже, лязгнул засов — осторожно, как лязгает засов, обёрнутый тряпкой. Тишина. Под полом совсем рядом зашуршало: из дыры вынимали ветошь. И наконец глухо, словно издалека, зарокотал мотор.

Сначала ничего не происходило. Потом у пола, у изголовья пустой кровати, родился звук: тонкий, ровный, едва слышный, будто кто-то тихо дул в горлышко бутылки. Мне в лицо потянуло тёплым, и я почувствовал сладковатый, тошнотворный запах.

Шерстнёв метнулся к решётке и навалился на неё всем телом, прижав мокрое одеяло.

— Окно, доктор! Настежь! И не дышите глубоко!

Я рванул раму. Свист оборвался. Шерстнёв, не отпуская одеяла, кивнул: к гаражу. Я выпрыгнул в огород и побежал вдоль стены.

Ворота гаража были закрыты. Мотор внутри гудел по-прежнему, но теперь как-то иначе — глуше, задыхаясь. И я понял, что произошло. Газу некуда стало уходить из-под пола, и он пошёл назад, по шлангу и в щели вокруг него, в сам гараж. А Рыкалов, видно, испугался, что шум разнесётся по улице, и сидел при закрытых воротах.

— Лыткин! — заорал я в сторону переулка. — Сюда! Лом!

Капитан, к его чести, появился через полминуты, с ним сержант с монтировкой. Засов был внутренний, и втроём мы выламывали створку не меньше минуты. Когда она подалась, из гаража ударило сизым чадом.

Рыкалов сидел за рулём, уронив голову. Лицо багрово-розовое — тот самый вишнёвый румянец, о котором утром рассказывала Вера. На соседнем сиденье валялась пустая бутылка: для храбрости.

Мы выволокли его на траву. Я заглушил мотор, сорвал шланг с трубы и упал на колени рядом. Пульс едва прощупывался, дыхания почти не было. Я делал искусственное дыхание, пока не онемели руки; Лыткин держал фонарь и вполголоса ругался. Минут через десять Рыкалов судорожно вздохнул, закашлялся, и его вырвало прямо на капитанские сапоги.

— Жить будет, — сказал я и сел на землю. Меня самого мутило.

Из дома вышел Шерстнёв, бледный, с мокрыми рукавами. Посмотрел на Рыкалова, потом на меня — долгим, странным взглядом.

— Вы его спасли, доктор.

— Я врач.

— Да, — помолчав, сказал он. — Наверное, в этом и разница между нами и им.

IV. Что было после

Неделю Рыкалов пролежал у нас в больнице, в отдельной палате, у двери которой сидел милиционер. На третий день он попросил бумагу и написал признание. Писал долго, крупным шофёрским почерком — о Тане, о Вере, о доме, о квартире, которую надеялся получить один. Самих листков я не видел. Лыткин потом сказал, что слова «убил» там нет ни разу. Рыкалов писал: «так получилось».

Суд был в январе. Рыкалову дали пятнадцать лет. Шерстнёв на суд не пошёл. Я пошёл и сидел рядом с Верой. Её Саша, высокий лейтенант с обветренным лицом, все четыре часа держал её за руку.

Весной они поженились и уехали к месту его службы. Через несколько лет дом снесли вместе со всей улицей. Теперь там пятиэтажки, и, проходя мимо, я иногда пытаюсь угадать, где было то угловое окно в огород.

Как-то я спросил Шерстнёва, что заставило его подумать о гараже ещё до того, как он увидел решётку.

— Вы, доктор. Вы и Вера. Она сказала «румяная», а вы побледнели. Она услышала свист, а вспомнила мотор. Шофёр, у которого служебная машина ночует за стеной спальни, и падчерица, умершая во сне, которую нельзя было вскрывать. Факты иногда лежат рядом, как кирпичи на стройке. Нужно только не бояться сложить из них стену.

Он взял баян и вместо обычной своей задумчивой мелодии заиграл старый вальс «На сопках Маньчжурии».

— А всё-таки хорошо, что вы его откачали, — сказал он, не переставая играть. — Пусть отвечает живым. Мёртвые слишком легко отделываются.

Рассказ четвёртый. Общество рыжеволосых

I. Энциклопедия на букву «В»

В начале ноября 1983 года, в один из тех сырых серых дней, когда снега ещё нет, а в лето уже не верится, к нам явился посетитель, которого я до сих пор не могу вспомнить без улыбки.

Невысокий, полный, лет шестидесяти, в старомодном драповом пальто и шляпе. Когда он снял шляпу, в комнате будто стало светлее: голову покрывали густые огненно-рыжие волосы без единой седины, а лицо сплошь было в веснушках.

— Рыжов, — поклонился он. — Семён Ильич. Фамилия, как видите, обязывает. Говорят, вы, товарищ Шерстнёв, разбираетесь в загадках. А со мной как раз приключилась загадка. И, признаться, обида.

Шерстнёв полулежал в кресле с закрытыми глазами. Он открыл их и оглядел гостя.

— Охотно послушаю. Хотя кое-что вижу и так. Вы много лет работали фотографом, теперь на пенсии. Сдаёте комнату. Последние два месяца каждый день подолгу что-то переписывали от руки. И курите «Приму», хотя врачи запреща-

ют.

Рыжов сел.

— Откуда… Вам Нюра из соседнего дома сказала?

— Никакой Нюры я не знаю. Пальцы у вас желтоватые, в мелких бурых пятнах. Это не никотин, а старые ожоги проявителя и фиксажа: так бывает у фотографов, которые десятилетиями работали без перчаток. Сбоку на среднем пальце свежая мозоль — у того, кто пишет от случая к случаю, её нет. Правый рукав у запястья лоснится: так протирается рукав, который часами ёрзает по столу. Пенсия — по возрасту. Комната — потому что вы сказали «мне сказали», а не «я прочитал», и пришли в такую рань, будто вас кто-то торопил. А «Прима» у вас в нагрудном кармане, нитроглицерин — в другом. Торцы видно.

Рыжов посмотрел на пальцы, на рукав и рассмеялся.

— Ловко. А я думал, фокус какой. Ну, слушайте.

Историю эту Шерстнёв потом называл одной из самых забавных и вместе с тем самых тревожных в своей практике.

Сорок лет Семён Ильич проработал фотографом в городском ателье. На пенсии жил один в половине старого кирпичного дома на Ленина; вторую половину, с отдельным входом, занимала сберкасса. Сам он занимал две комнаты с кухней, а третью, маленькую, сдавал.

— Жилец у меня Геннадий Мухин. Молодой, вежливый, тихий. Учится заочно в политехническом, работает на каком-то складе. Платит исправно, не пьёт, девушек не водит.

И тоже увлекается фотографией — я ему разрешил пользоваться моей старой лабораторией в подвале. Сидит там вечерами, всё что-то печатает.

В сентябре этот самый Геннадий принёс газету и показал объявление, обведённое карандашом. Рыжов порылся в бумажнике и протянул нам вырезку:

«Оренбургская лаборатория популяционной генетики проводит исследование наследственных признаков у лиц с натуральным рыжим цветом волос. Приглашаются мужчины старше 50 лет, постоянно проживающие в г. Бузулуке. Участникам оплачивается 4 руб. за день работы. Обращаться: ДК "Железнодорожник", комн. 14, с 10 до 12 ч.»

— Четыре рубля в день! — сказал Рыжов. — При пенсии восемьдесят. Геннадий меня прямо уговорил: идите, говорит, Семён Ильич, делать вам ничего не придётся, а таких рыжих, как вы, во всём городе нет.

У дверей четырнадцатой комнаты он застал очередь. Рыжих в Бузулуке оказалось неожиданно много, человек тридцать, всех оттенков, от соломенного до морковного. Принимала их молодая женщина в белом халате — Ирина Павловна, научный сотрудник. Каждого она быстро осматривала, задавала пару вопросов и вежливо отказывала: этот не тот оттенок, тот не тот возраст, у третьего волосы, похоже, крашеные.

— А на меня поглядела и прямо засияла. Вы, говорит, идеальный образец, классический ген. Спросила, где живу,

с кем, много ли свободного времени. И объяснила работу. Каждый день, кроме воскресенья, с десяти до четырёх сидеть в этой комнате. Никуда не отлучаться: будут осматривать, брать волоски на анализ, мерить давление. Ушёл — выбыл из исследования, деньги пропали. А чтобы не скучать, вот вам занятие.

— Какое? — спросил Шерстнёв. Глаза у него блестели.

— Переписывать от руки «Советский энциклопедический словарь», — совершенно серьёзно сказал Рыжов. — С первой страницы. Лаборатории, мол, нужен образец почерка за долгий срок: по нему судят о наследственных особенностях нервной системы.

Я не удержался и рассмеялся. Шерстнёв тоже улыбнулся, но задумчиво.

— И вы переписывали?

— Два месяца, — с достоинством сказал Рыжов. — С десяти до четырёх. «Аалто», «Аарау», «Аахен»… Добрался до буквы «В». Ирина Павловна раза два в день заглядывала, выдёргивала волосок, щупала пульс и уходила. По субботам выдавала двадцать четыре рубля наличными, без всяких ведомостей. Я даже привык. Даже интересно стало. Много узнал.

— И что случилось?

— Сегодня прихожу, а четырнадцатая комната заперта. На двери листок.

На тетрадном листке красивым женским почерком было написано:

«Исследование наследственных признаков завершено. Благодарим участников. Лаборатория».

— Я к директору ДК. Тот руками разводит: сдавали комнату на два месяца научной организации, по письму с печатью, деньги вперёд, а что за лаборатория — понятия не имеет. Я на почту, звоню в Оренбург, в справочную. Нет там никакой лаборатории популяционной генетики и не было. Вот я и думаю: что это? Шутка? Кому понадобилось два месяца платить старику по четыре рубля, чтобы он переписывал словарь?

Шерстнёв смотрел на огонь в печке.

— Ваш жилец давно у вас?

— С июня. По объявлению пришёл.

— Сколько платит?

— Пятнадцать рублей. Сам предложил. Мне, говорит, важно, чтобы тихо и чтобы лаборатория.

— Пятнадцать за каморку, когда в городе такие сдают за десять, — пробормотал Шерстнёв. — Сам пришёл, сам переплатил, сам попросил подвал, сам нашёл вам объявление и сам уговорил пойти. А за стеной у вас сберкасса. Какое сегодня число?

— Седьмое ноября было вчера. Сегодня восьмое.

— Второй день праздника. Сберкасса закрыта до утра. — Шерстнёв поднялся. — Доктор, одевайтесь. Семён Ильич, идёте с нами. Мне нужно посмотреть на ваш тротуар.

II. Колени жильца

Дом Рыжова стоял на Ленина, в квартале от универмага: приземистый, двухэтажный, из тёмного дореволюционного кирпича. Правую половину занимала сберкасса — вывеска, решётки на окнах, тяжёлая железная дверь, по случаю праздника запертая. Над дверью ещё висел кумач «Слава Великому Октябрю!». Левая половина, с крыльцом во дворе, была Рыжова.

Шерстнёв велел нам ждать на углу, а сам медленно прошёлся вдоль фасада до конца квартала и обратно, постукивая по асфальту тяжёлой палкой. Постучал у крыльца Рыжова, у дверей сберкассы, ещё раз между ними. Прохожие косились, но в праздник никто ни во что не вмешивается.

Вернувшись, он сказал:

— Семён Ильич, попросите жильца выйти. Скажите, что надо передвинуть шкаф. А я спрошу у него дорогу.

Через минуту на крыльцо вышел молодой человек лет двадцати пяти — худой, бледный, гладко причёсанный, с вежливыми и очень внимательными серыми глазами. Шерстнёв, изображая заблудившегося приезжего, спросил, как пройти к автостанции, выслушал подробное объяснение и откланялся. Всё заняло меньше минуты.

— Заметили что-нибудь? — спросил он, когда мы отошли.

— Вежливый. Нервный немного.

— Вы смотрели ему в лицо, а мне нужны были его брюки. Колени, доктор. На обоих — вытертые до блеска пятна, в складках рыжеватая глина. Наша, местная, она отстирывается хуже чернозёма. Заочник, работающий на складе, не протирает брюки на коленях до дыр. А тот, кто два месяца каждый день ползает на коленях в узком лазе, — протирает.

Я остановился.

— Подкоп?

— Подкоп. Из подвала с лабораторией — под тротуар и дальше, в подвал сберкассы. Капитальную стену между половинами дома они, конечно, не трогали: стук бы услышали. Пошли в обход, под фундаментом. Под тротуаром пустота — я слышал по звуку: у крыльца и у сберкассы глухо, а между ними звонко. А для такой работы требовалось одно: чтобы хозяин каждый день, с утра до вечера, гарантированно отсутствовал и ничего не заподозрил. Что надёжнее старика, прикованного к стулу на другом конце города четырьмя рублями в день и любопытством к словарю?

— Но почему именно рыжие? Зачем такие сложности?

— Потому что приманка должна была подойти только ему. Объявление для всех привело бы толпу, и Семён Ильич мог не пройти «отбор». Объявление для рыжих стариков в маленьком городе — почти именное приглашение. Остальным отказали, нужному дали работу. Ирина Павловна, разумеется, никакой не учёный. Скорее всего, сообщница Мухи-

на. Если не главная.

— А почему всё кончилось именно сейчас?

— Потому что подкоп готов. Хозяина больше не нужно уводить из дома. Нужно, чтобы сберкасса была закрыта, а денег в ней было много. Седьмое и восьмое — праздник, касса не работает. А десятого нефтяникам выдают зарплату, и наличность свезли в хранилище заранее, до праздников. Сейчас там больше денег, чем в любой другой день года. И сегодняшняя ночь — последняя, когда пропажи никто не хватится до утра.

III. В хранилище

На этот раз Лыткин поверил Шерстнёву почти сразу: история с гаражом Рыкалова его кое-чему научила. Через час прибыл майор Соколов из ОБХСС, ещё через час заведующая сберкассой, полная перепуганная женщина, которую выдернули из-за праздничного стола, отперла нам железную дверь.

Хранилище помещалось в подвале: низкий свод, бетонный пол, вдоль стены три несгораемых шкафа. Мы погасили свет и устроились за шкафами. Лыткин с двумя сержантами у двери, Соколов и Шерстнёв ближе к углу, я между ними — с фонарём, который велено было включить по сигналу.

Было холодно и сыро, пахло пылью и старой бумагой. Тишину нарушали только сопение Лыткина и тиканье моих часов. Час. Два. В половине третьего Шерстнёв тронул меня за локоть.

Из-под пола, из дальнего угла, донёсся глухой мерный скрежет: кто-то работал зубилом по бетону. Стук, снова скрежет. Он приближался мучительно медленно. Минут через двадцать одна из бетонных плит в углу дрогнула, приподнялась, сдвинулась, и в чёрную щель пробился жёлтый луч фонарика.

Показалась бледная рука с глиной на пальцах, ощупала край плиты и отодвинула её. За рукой — голова, та самая,

гладко причёсанная. Геннадий Мухин, упираясь локтями, выбрался в хранилище по пояс.

— Чисто, — шепнул он вниз. — Давай мешки.

— Свет, доктор, — сказал Шерстнёв.

Я включил фонарь, и одновременно Лыткин щёлкнул выключателем у двери. Подвал залило резким светом. Мухин замер, как кролик в свете фар. Снизу донёсся сдавленный женский вскрик и шорох: кто-то пытался отползти назад.

— Не трудитесь, Ирина Павловна, — громко сказал Шерстнёв, наклонившись к дыре. — В подвале у Семёна Ильича вас ждут два сержанта. Я распорядился ещё вечером. Жаль будет поцарапать ваш белый халат.

Мухина скрутили прежде, чем он успел вскрикнуть. Через несколько минут из лаборатории Рыжова привели и его сообщницу — растрёпанную, в рабочем ватнике, с пустыми мешками из-под сахара. Без халата и строгой причёски «научный сотрудник» оказалась моложе, чем описывал Рыжов, лет двадцати семи, с умным злым лицом. Соколов усмехнулся.

— Ирина Лапина по прозвищу Артистка. Куйбышевский розыск ищет её третий год. А этот, значит, Гена Муха. Хорошая компания.

— Сама виновата, — хрипло сказала она, глядя не на майора, а на Шерстнёва. — Знала ведь, что рыжий дед — дурацкая затея. Слишком красиво.

— Напротив, — вежливо ответил Шерстнёв. — Затея

превосходная. Подвели вас не рыжие. Подвели колени.

IV. Послесловие

В хранилище, как выяснилось, лежало без малого сто сорок тысяч — зарплата нефтепромыслов за месяц. Ход, который мы утром осмотрели вместе с Лыткиным, тянулся от лаборатории Рыжова на семь метров, под тротуаром и под фундаментом, и был укреплён досками, которые Мухин таскал со склада, где числился грузчиком. Землю они по ночам выносили в мешках и высыпали в овраг за рынком.

Семён Ильич отнёсся к приключению философски. Обиделся он, похоже, только на то, что исследование оказалось ненастоящим.

— А я-то думал, наука, — грустно сказал он, когда через неделю пришёл к нам с тортом «Сказка» от благодарной заведующей. — Думал, мой почерк кому-то пригодится. Ну да ладно. Теперь дома переписываю, по вечерам: словарь в библиотеке взял. Привык. Уже до Гагарина дошёл.

— Не бросайте, Семён Ильич, — серьёзно сказал Шерстнёв. — Мне всегда было любопытно, что там дальше, на «Д».

Когда Рыжов ушёл, я спросил, в какой момент он заподозрил подкоп.

— Когда Семён Ильич сказал, что жилец вечерами сидит в подвале и «печатает фотографии». Плёнка и фотобумага сейчас в дефиците. Студент-заочник не может себе позволить печатать каждый вечер два месяца подряд. А если не

печатает, то что он там делает? Оставалось спросить, что за стеной. За стеной оказалась сберкасса. И стало ясно, что вся эта генетика и весь словарь нужны только для одного: чтобы рыжая голова Семёна Ильича каждый день была подальше от собственного подвала.

Он вложил вырезку с объявлением в мою тетрадь, между страницами.

— На память. Это объявление стоило сто сорок тысяч. Самое дорогое объявление в истории газеты «Под знаменем Ленина».

Рассказ пятый.
Прорубь на Самарке

I. Жена кассира

Февраль 1984 года запомнился мне траурными флагами. Девятого умер Андропов, и город, как вся страна, притих на несколько дней. По радио шла симфоническая музыка, в кинотеатрах отменили сеансы, на горкоме и исполкоме висели красные полотнища с чёрной каймой. Люди говорили вполголоса и по старой привычке ждали перемен, сами не зная каких.

Нам было не до политики. Шерстнёв неделю не выходил из комнаты, увлечённый опытами с чернилами, а я пропадал в больнице, где ходил грипп. Поэтому, когда в субботу вечером Клавдия Степановна сказала, что внизу ждёт женщина в чёрном платке, я решил, что та пришла к хозяйке — на поминки звать или что-нибудь в этом роде.

Женщине было около сорока. Усталое, некрасивое, но очень хорошее лицо — такое бывает у людей, привыкших много работать и мало жаловаться. Она не плакала. Похоже, все слёзы уже были выплаканы.

— Фомина, Зинаида Петровна, — сказала она, присев на

край стула. — Мой муж, Николай Фомин, был кассиром на хлебозаводе. Вчера его достали из Самарки, из-подо льда. А до этого две недели весь город говорил, что он вор.

Шерстнёв отложил склянки.

— Рассказывайте с самого начала.

В пятницу, третьего февраля, на хлебозавод привезли из банка зарплату — около девятнадцати тысяч. Как всегда, деньги заперли в несгораемый шкаф в кассе. Ключи от кассы и от шкафа были только у двоих: у кассира Фомина и у главного бухгалтера Бориса Сергеевича Ладыгина. Выдавать собирались в понедельник.

В понедельник утром касса оказалась открыта ключом, шкаф тоже, и шкаф был пуст. А кассир исчез. На работу не пришёл, дома с пятницы не ночевал, и больше его никто не видел.

— В пятницу он сказал, что задержится, — говорила Зинаида Петровна. — Ладыгин, мол, просил остаться проверить какие-то ведомости. Он часто задерживался. Я легла, утром его нет. В субботу пошла в милицию, а там: подождите, загулял ваш муж, придёт. А в понедельник они сами явились — с обыском.

— И решили, что он украл деньги и сбежал.

— Все так решили. Ключи у него, деньги пропали, сам исчез. Ладыгин сказал, что в пятницу Коля ушёл из кассы раньше него, в шестом часу, а сам он сидел до восьми. Сторож видел, как Коля выходил. Милиция ездила к его бра-

ту в Куйбышев, разослала ориентировки по вокзалам. Меня таскали на допросы. Соседи перестали здороваться. Сына в школе дразнили «воровским». — Она сжала руки на коленях. — А вчера утром рыбаки за мостом сверлили лунки и увидели его подо льдом. Там ветром снег сдуло, лёд чистый, как стекло.

— Что говорит милиция теперь?

— Капитан Лыткин говорит, Коля, видно, решил уйти из города пешком по реке, чтобы не попасться на вокзале, и провалился в полынью. Денег при нём не нашли — значит, где-то спрятал. Или выронил, когда тонул. Весной, говорят, поищут.

— А вы так не думаете.

— Я двадцать лет с ним прожила. Он чужой копейки за всю жизнь не взял. В магазине лишнюю сдачу возвращал. И льда он боялся, с детства: брат у него провалился, когда им было по десять, еле вытащили. Коля зимой даже через реку по мосту ходил, а не напрямик, как все. Чтобы он ночью, один, пошёл по Самарке?

Она покачала головой.

— Я ничего не прошу, товарищ Шерстнёв. Денег нет, всё на похороны уйдёт. Я хочу только, чтобы сын знал: отец не вор.

Шерстнёв подошёл к окну. Уже стемнело, в свете фонаря падал редкий снег.

— Где тело?

— В морге при больнице. Вскрытие сегодня утром было.

— А место, где его нашли, затоптали?

— Не знаю. Там вчера милиция была, рыбаки, лёд долбили, чтобы достать.

— Неважно. Лёд не врёт, если уметь его читать. — Он повернулся к нам. — Доктор, завтра с утра в морг, потом на реку. Зинаида Петровна, идите домой и попробуйте уснуть. Обещаю одно: если ваш муж не вор, я это докажу.

II. Что знал мёртвый

Наш прозектор Яков Моисеевич Гринберг, старый, ворчливый и очень знающий врач, встретил меня без восторга, но протокол показал. Шерстнёв стоял рядом, заложив руки за спину.

— В лёгких воды почти нет, — читал я. — Признаков утопления нет. Ушибленная рана на затылке, трещина затылочной кости. Причина смерти — черепно-мозговая травма, прижизненная. В воду, по всей видимости, попало уже мёртвое тело.

— А милиция? — спросил Шерстнёв.

— А милиция, — отозвался Гринберг из-за стола, не поднимая головы, — полагает, что покойный, провалившись, ударился затылком о кромку льда. Я написал, что это маловероятно. Лыткин спросил, могу ли я исключить. Исключить, молодой человек, нельзя ничего, кроме собственного рождения.

— Желудок? — спросил я.

— Хлеб. Свежий, почти не переваренный. И чай. Ел не больше чем за час до смерти.

Одежду принесли в бумажном мешке, ещё влажную: пальто, костюм, рубашка, ботинки. Шапки не было.

— Шапку не нашли?

— Не нашли, — сказал санитар. — Течением унесло, на-

верно.

— Человек собирается ночью бежать по реке в двадцатиградусный мороз и снимает шапку? — заметил Шерстнёв. — Любопытно. А сторож, по словам Зинаиды Петровны, видел, как Фомин уходил с завода. Хорошо бы узнать, в шапке ли.

В карманах нашлись папиросы, спички, платок и связка ключей. Шерстнёв перебрал её.

— Квартира, почтовый ящик, сарай… А эти два плоских, с номерами, — от кассы и от несгораемого шкафа. Оба здесь. Если бы Фомин, как считает милиция, в понедельник утром открыл кассу и шкаф, а потом бежал, ключи были бы при нём. Они и при нём. Но если он умер в пятницу вечером…

— То кассу открывали другими ключами, — договорил я. — А вторые у главного бухгалтера.

— Пока это только «если». Он мог открыть шкаф в пятницу, взять деньги и уже потом погибнуть. Но вот что ещё любопытно.

Во внутреннем кармане пиджака лежало несколько размокших листков, сложенных вчетверо: копии накладных на муку, написанные химическим карандашом. Карандаш в воде расплылся, но не исчез. На полях против нескольких строк стояли галочки и обведённое кружком слово: «Сверить».

— Вор, который везёт девятнадцать тысяч из города, прихватил с собой копии накладных на муку. Зачем? Это не вещи вора, доктор. Это вещи бухгалтера, который что-то на-

шёл и хотел проверить. И, может быть, те самые «ведомости», которые просил проверить Ладыгин.

III. Лёд не врёт

Тело нашли за автомобильным мостом, у поворота, где Самарка делает плавную петлю и по выходным всегда сидят рыбаки. В то воскресное утро их было человек пять — неподвижных, как вороны, на складных стульчиках над лунками. Мороз держался под двадцать пять, лёд звонко потрескивал.

На месте находки зияла неровная выдолбленная дыра, уже затянутая тонкой коркой: тут милиция доставала тело. Шерстнёв мельком глянул на неё и пошёл вверх по течению, рассматривая лёд.

— Подо льдом течение, доктор. Слабое, но есть. Тело опустили не здесь, а выше, в открытую воду, и его несло, пока не прибило ко льду у поворота. Ищите прорубь. Старую, замёрзшую.

Мы нашли её метрах в сорока, у самого берега, под нависшими ивами: квадрат примерно метр на метр, затянутый льдом светлее и ровнее, чем вокруг. Сверху лежал снег, и угадать её можно было только по оттенку.

Шерстнёв смёл снег рукавицей. Потом выменял у ближайшего рыбака ледобур на пачку «Беломора» и просверлил сначала новый лёд в квадрате, потом, для сравнения, старый рядом. Оба раза измерил толщину складным метром.

— Старый — семьдесят сантиметров. Новый — тридцать. Какие у нас были морозы последние две недели?

— За двадцать. Ни одной оттепели.

— Открытая вода в такой мороз нарастает льдом сначала быстро, по нескольку сантиметров в сутки, потом медленнее. Любой рыбак вам скажет: тридцать сантиметров под снегом — это две недели, не меньше. Прорубь вырубили не вчера и не неделю назад, а в начале месяца. Скорее всего, в пятницу третьего, в тот вечер, когда Фомин в последний раз ушёл с работы. Человек, «утонувший» в понедельник, не мог провалиться в прорубь, которая к тому времени трое суток стояла подо льдом.

Он снова опустился на колени и стал рассматривать края квадрата, где старый мутный лёд сходился с новым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.